

Научная библиотека итальянской литературы о древнейшем Риме пополнилась новой книгой. Это труд известного уже нашим читателям профессора кафедры лингвистики Флорентийского университета Эмилио Перуцци «Культурные аспекты древнего Лация». Книга состоит из четырех глав, алфавитного указателя имен, географических и этнических названий и терминов, а также восьми таблиц с репродукциями вещественных памятников, хранящихся в музеях Рима, Флоренции, Болоньи и Национальной библиотеки в Париже. Каждая глава посвящена отдельной проблеме и как бы существует в виде самостоятельного исследования.

В главе I «Аркадские культы на Палатине» (стр. 7—52) Э. Перуцци обращается к теме, уже затрагивавшейся им в статьях<sup>1</sup>. Автор отталкивается от известных археологических и лингвистических фактов и выводов (в том числе и принадлежащих ему самому) о пребывании греков (т. е. микенцев) в Лации в период, предшествующий Великой греческой колонизации. Он рассматривает традицию о луперкалиях, отмечая при этом, что древние возводили их к аркадскому селению на Палатине и подчеркивали их аналогию греческим *Λύκαμα*. Это обстоятельство вызывает у исследователей законный вопрос: чем объяснить сходство обрядов: случайным совпадением, культурной конвергенцией или общими обоим народам изначальными элементами (стр. 11, 21)?

Чтобы решить этот вопрос, Э. Перуцци сопоставляет между собой немногие сохранившиеся в источниках сведения как о римском, так и об аркадском культе. В Аркадии местом культа была Ликейская гора, где сначала почитался Пан, культ которого был древнее культа Зевса Ликейского. Подобным же образом в Риме алтарь, посвященный Эвандром Пану, находился в пещере на Палатинской горе в зоне Гермала (стр. 14—15). Жрецы Пана Ликейского в Лации совершали обряд, внешне уподобляясь богу: они опоясывались козьими шкурами и, вероятно, надевали маски или намазывали себе лицо, изменяя его цвет (на особый оттенок лица Пана намекали Сервий и Исидор Гиспальский). Применение масок жрецами известно и в Аркадии в культе Деметры Кидарии. Испол-

<sup>1</sup> E. P e r u z z i, *Prestiti micenei in latino*, «Studi Urbinati», 47, n. s., B, 1973. *Suppl. linguist. I*, Urbino, 1975, стр. 7—60; о н ж е, *I micenei sul Palatino*, «La parola del passato», 29, 1974; о н ж е, *Agricoltura micenea nel Lazio*, «Minos», n. s., 14, 1973.

зование козьей шкуры в costume жреца не входит в римскую традицию, но находит аналог в критской (стр. 15, 17). Целью культовых обрядов как в Аркадии, так и в Лации была защита стад, прежде всего от волков (стр. 16, 21).

Таким образом, автор подчеркивает сходство мест отправления культа, внешних его аксессуаров и цели обрядов в аркадском и палатинском вариантах и делает вывод, что указанные условия свидетельствуют о сохранении в Риме традиции сельского происхождения луперков (стр. 17).

Затем Э. Перуцци пытается выяснить характер почитаемых божеств. Он обращает внимание на то, что аркадский Пан идентифицировался в Риме либо с местным божеством, охранителем стад Инуем, либо с Фавном, царем аборигенов. Инуий изображался поэтами козлоногим, т. е. звероподобным — бегающим по горам. А такие божества, по замечанию автора, могли считаться и покровителями, и истребителями или грозными повелителями соответствующих животных, что порою отражалось в эпитете этих божеств. Примером может служить Аполлон Ликейский. Пану Ликейскому в пастушеской Аркадии приносились в жертву животные, подвергавшиеся нападению волков, т. е. лани и олени, а во время луперкалий — козы (но и собаки — враги волков). Можно согласиться с Э. Перуцци, что эти жертвоприношения следует понимать как умилоствление. Значит, Пан Ликейский — это бог-волк. Но ни в литературе древних, ни в изобразительном искусстве следов таких представлений не осталось. Вслед за Гербигом автор книги признает, что в результате их гуманизации в традиции сохранилась лишь трансформация божественного животного в зооморфного бога. Так было в Риме с *semisacer Faunus*, идентифицированным с *semisacer Pan*, но в то же время у обоих богов существует какая-то связь с волками (стр. 20—21).

Но поскольку сущность Пана Ликейского все еще остается проблемой, Э. Перуцци привлекает для выяснения характера луперкалий и анализ лингвистического материала. Он начинает с луперков. В словаре Феста есть объяснение: «*sperros* (шумные) id est lupercos a *speritu*...», т. е. от шума. У Павла Дякона, сделавшего извлечение из Фестова словаря, «*a speritu*» служит одним из объяснений происхождения *sarcae* (козы), почему их также называют *speras* (шумными). Э. Перуцци отмечает, что древние не рассматривали *sper(r)us* и *spera* как мужской и женский род одного прилагательного, откуда следует, что луперки, опоясанные козьими шкурами, будучи *sper(r)i*, не символизировали собой козлов. Но с точки зрения лингвистической он не видит оснований для сомнения в понимании *spera* (как и *sarcae*) — коза, так как *speros*, форма, близкая к \**capros* > *sarcae*, не может быть отделенной от *sarcae*. Подобные изменения корневой гласной встречаются и в современных языках и диалектах. Вариации слов в древнем Риме в определенную эпоху стали семантическими и хронологическими их вариантами. Так, *spera*, если учитывать замечание Исидора Гиспальского (Etym. 12, 1, 15), коза — дикое, а не домашнее животное. Из этого исследователь делает вывод, что данное слово — не из сферы *urbs*, а сельское (стр. 21—22).

Э. Перуцци использует для характеристики луперкалий и материал, касающийся Зевса Ликейского, в частности — о человеческих жертвоприношениях, совершавшихся некогда аркадцами в его честь со времен Ликаона, который после первой такой жертвы был превращен в волка. По преданию, рассказанному Павсанием (8, 2, 6), такие превращения, правда не всегда, происходили всякий раз при жертвоприношениях этому богу. Э. Перуцци приводит косвенные свидетельства Павсания о человеческих жертвах в культах других богов в Аркадии, а также (на базе пилосских табличек) в микенском мире (стр. 24—26). Следов жертвоприношений такого рода в луперкалиях он не видит. По нашему мнению, сомнения Э. Перуцци в заменяющем характере практиковавшегося луперками обряда касания лбов знатных мальчиков окровавленным мечом с последующим смыванием кровавых следов шерстью, смоченной молоком, неосновательны. По крайней мере, если нельзя утверждать такое толкование обряда, то нельзя и отрицать его. Оно становится особенно вероятным благодаря интерпретации, которую сам автор книги дает пассажи из трактата Варрона о латинском языке (VI, 34). Варрон, поясняя название месяца февраля, упоминает луперков, бегающих вокруг Палатина, окруженного людскими толпами — *gregibus humanis*. Э. Пе-

руцци справедливо, как нам кажется, отвергает перевод указанных латинских слов, данный В. Ф. Отто, — «von Heerden menschlicher Tiere» (стадами людей-зверей). Э. Перуцци видит в них людей, принимающих участие в сложных *μίθρα*, символизирующих собою стада, на которые нападали волки. Принимая во внимание другое свидетельство, принадлежащее Августину со ссылками на Варрона (*De civ. Dei*, 18, 17), о том, что луперкалии ведут свое происхождение от мистерий Пана Ликейского и Зевса Ликейского с превращением людей в волков, исследователь подводит читателя к выводу, пока еще не формулируя его, о том, что в луперкалиях волками выступают скорее луперки, а не *greges* (стр. 26—27).

Эта интерпретация представляется нам верной и, заметим попутно, она может дополнительно подкрепить предположение о том, что луперкалиям не были чужды человеческие жертвоприношения, что в «нападениях волков на людей» отразился ушедший в прошлое обычай принесения луперками людей в жертву. Свои осторожные замечания по поводу античной традиции исследователь поверяет языковыми данными. Он отмечает, что слово *lupercālis* является доромуловым в хронологическом и этническом отношении, так как появляется в культе, предшествующем альбанской колонии, в зоне, где обитали аборигины. А эта культурная сфера характеризуется, в частности, таким языковым явлением, как переход  $k^{\omega} > p$ , в том числе:  $*wl^{uk^{\omega}}os > lupus$ . С точки зрения формы латинское *lupercāles* является естественным продолжением греческого  $*wl^{uk^{\omega}}-arkādes$ ,  $*\lambda\upsilon\kappa-αρκαδες$ , что может быть понято как сложное, составное слово, где  $\lambda\upsilon\kappa-$  имеет значение приложения, или прилагательного, определяющего  $^{\alpha}Arkādes$  и жрецов Пана (волки-аркадяне), или как составное, где  $\lambda\upsilon\kappa-$  стоит в отношении со второй частью слова в косвенном (здесь родительном) падеже (аркадяне волков, волчьи аркадяне). В обоих случаях приходится постулировать греческого «предшественника». Слово *lupercāles* должно быть адаптацией греческой формы, а не продолжением, развитием первоначальной латинской. Латинский язык, как подчеркивает Э. Перуцци, избегает, в отличие от других индоевропейских языков, составных имен существительных. Греческие составные имена скорее подходили для ассимиляции их по форме, фонически. Адаптация греческого  $*wl^{uk^{\omega}} - arkādes$  должна была произойти при смене  $d/l$  таким образом:  $*wl^{uk^{\omega}}-arkades > *wl^{uk^{\omega}}arkāles > *lupercāles > lupercāles$ . Это — одно из тех заимствований, при которых слово появляется сначала именно во множественном числе, а потом от него образуется единственное (стр. 29—31).

Касаясь имени божества, почитавшегося в Луперкале, Э. Перуцци отмечает, что источники называют его Пан или *Pan Lysaeus*, либо *Faunus* или *Faupus Lysaeus*. Однажды названный Юстином (43, I, 6—7) *Lupercus* — это не собственно теоним, а эпитет, выражающий функцию божества наравне с  $\Lambda\upsilon\kappaαιος/\Lambda\upsilon\kappaαϊος$ , латинское *Lysaeus* (стр. 35). Важное наблюдение делает ученый в связи с тем, что Пан был идентифицирован с аборигинским Фавном. Это обстоятельство, по его резонному заключению, объясняет то, что его культ засвидетельствован только в Риме и древнейших центрах Лация (Тибур, Каструм, Инуи), и показывает, почему вера в фавнов, идентичная вере греков в панов, ограничена кругом «*rustici suburbani*» (стр. 36). Приведенные выводы имеют значение для определения датировки рассматриваемого культа. Не менее существенными следует признать соображения Перуцци относительно переданной Сервием (*Georg.* I, 10) традиции о признании Эвандром Фавна в качестве бога: она связана с реальным прогрессом в материальной культуре аборигинов под воздействием более высокой аркадской культуры и при содействии аборигинского правителя Фавна (стр. 37). На отождествление его с Паном оказал влияние языковой фактор. Известно, что аркадские изгнанники основывали на новом месте поселения, которые называли по покинутым ими родным местам. Так, например, возникла Тегея в Этрурии, а существовавший до них *Palatium* с неясной этимологией получил близкое ему по звучанию имя Паллантия. Примерно то же имело место и в случае с Фавном. Более древней формой] теонима  $\text{Πάν, Πῶός}$  была засвидетельствованная аркадским остраконом VI в. до н. э. форма дательного падежа  $\text{Πῶνι}$ , предполагающая именительный

падеж *raōp*, определенно созвучный с *Faunus*. Ведь в архаическую эпоху латинское «f» произносилось в определенных условиях подобно «p» (стр. 39).

Очень интересный пассаж посвящен в книге доказательству того, что важнейший латинский термин *februum* (*februm*), связанный с луперкалиями, может быть объяснен их греческим происхождением. Уже ранее Э. Перуцци установил, что в Лации XIII в. до н. э. в латинских словах греческого происхождения перед согласным исчезает *s*<sup>2</sup>. Поэтому форму \**febr-* он считает развитием греческого *σφῆδρός* (чистый) с переходом *σφ* > *f*-. Что касается группы *-br-*, то и она является закономерным развитием греческого предшественника. Латинский язык, как правило, не допускает перед *g* зубного, который обычно и трансформируется в *b*: *-br*< и *e.\*-dhr-* или *-br*< греч. *δρ* (стр. 40—43). Аналогичным примером может служить *br̄ia* < *ῥρία*. Так лингвистические методы способствуют доказательству фиксированного традицией положения об аркадском происхождении луперкалий.

Кроме луперкалий древние приписывали аркадцам постройку на Палатине храма Деметры. Священнодействия в ее честь еще в I в. до н. э. совершались с запретом на вино, притом одними женщинами (*Dionys.*, I, 33, 1). Обслуживание культа только или преимущественно женщинами известно в Аркадии в храме Деметры у горы Мейнал, в святилище Реи на горе Таумасий, в храме Керы в Мегалополе. Наиболее характерным в культе аркадской Деметры является табу на вино. Именно это исключает возможность идентифицировать аркадскую Деметру с Церерой и сближает ее с римской *Vona Dea*, которую Макробий (*Sat.* I, 12, 21) называет *Faunam*, *Orem et Fatuam* или *Proserpinam* — дочерью Фавна. И этот культ, согласно традиции, восходит к эпохе Фавна, а богиня идентифицируется либо с его супругой, либо с сестрой, либо с дочерью. Перуцци полагает, что *Vona Dea* — не теоним, а заменяющее его (в силу бытовавшего в древности в Аркадии запрета произносить имя божества) прозвище. Добрые богини, или Добрые матери, аналогичные латинской, существовали и у других италиков и иных народов. По мнению исследователя, не названная в микенских табличках Деметра могла скрываться под именем «мать бога»: (здесь дательный падеж) *ma-te-te te-i-ja*. Так Перуцци выявляет рациональное зерно традиции об аркадском происхождении палатинского культа Деметры.

Удостоверяет Э. Перуцци сообщение Дионисия и об аркадском установлении культа Победы. Хотя *Victoria* получила свой храм в Риме только в 294 г. до н. э., культ ее он уже в предыдущей работе с большим основанием относил ко времени Ромула<sup>3</sup>. К Варрону восходят сведения об идентификации Виктории с древней сабинской Вакуной (*Pseudoacr. in Hor epist.* I, 10, 49). В эпоху Юлия Гигина *Victoria* идентифицировалась и с *Vica Pota*, почитавшейся на Палатине. Древность божества выявляется из упоминания ее в антийском доюлианском календаре. Это позволяет Перуцци объяснить кажущуюся ошибку Дионисия, датировавшего культ Победы доисторическим временем, и утверждать, что в классическую эпоху *Vica Pota* была менее значительной богиней, чем прежде, когда ее почитали как мать *Diespiter'a*. В связи с этим исследователь вспоминает, что во всем микенском мире выдающимся божеством была *Potnia*, что местопребывание божеств обозначалось словом *woikos*, а потому и место культа *Potnia* в Фивах называлось *potnias woikos*. Учитывая сказанное, Перуцци выдвигает остроумное предположение о том, что бивомий *Vica Pota* (созданный по модели *Panda Cela*, *Anna Perenna*) мог быть парэтимологическим продолжением *woikos potnias* (стр. 47).

В заключение главы Перуцци останавливается на именах палатинского аркадского героя и его матери. Поскольку форма *Euander* не является совершенной греческой, это может вызвать сомнение во всей традиции о «палатинском аркадизме». Однако надо учитывать, что этот сюжет содержится в двух параллельных передачах, греческой и латинской. Так, мать Эвандра называется либо *Ἐνδρίς*, либо *Carmenta*, или *Carmentis* (дериваты от *carmen*). Сосуществование двух типов имен на *-ā* и на *-ī* относится

<sup>2</sup> *Peruzzi*, *I micenei sul Palatino*, стр. 333—335.

<sup>3</sup> *E. Peruzzi*, *Origini di Roma*, t. 2, Bologna, 1973, стр. 83 сл.

к очень древнему времени. Оно характерно для догородских технических терминов (например, *buga* и *buris* — рукоять сохи, *guma* и *gumis* — сосец). Таким образом, имя Эвандровой матери есть и в собственно латинской традиции, это — не перевод греческого имени, который звучал бы как *Justitia*. Эвандр в свою очередь представлен в традиции греческой: известен Эвандров холм недалеко от Паллантия в Аркадии, восходят к греческим версиям сообщения о предприятиях Эвандра против аркадского города Феней, имя его отца Эхема должно быть почерпнуто из эллинских традиций, ведь оно появляется уже в микенскую эпоху (*e-ke-da-mo* и *e-ke-me-de*). Перуцци подчеркивает, что его занимает не историчность Эвандра, а выяснение того, что его имя не снимает значения традиции об аркадянах на Палатине (стр. 50—51).

Во II главе (стр. 53—78) рассматривается традиция о салиях. Э. Перуцци обращает внимание на то, что учреждение палатинских салиев недвусмысленно приписывается сабинянину Нуме, а противнику сабинян, альбанцу Туллу, — введение второй коллегии, коллинских салиев. Однако традиция о происхождении салиев носит двойственный характер. Исидор Гиспальский со ссылкой на Варрона (Етум. 18, 50) и Сервий (Аен. 8, 285; 663) говорят, что салии получили имя по аркадцу Салию, прибывшему с Энеем в Италию. Но тот же Сервий (Аен. 2, 325) возводит салиев к самофракийским хранителям пенатов, которые назывались саонами. И поскольку Самофракия некогда именовалась *Σαβωννηςος* и *Σαωνίς*, а гора — *Σάον* или *Σαφάκη*, или *Σάος*, по жившим там племенам, Перуцци справедливо считает, что в термине «салии» просвечивает этникон (стр. 53—55).

От взгляда исследователя не ускользает тот факт, что откуда бы ни происходили салии, появились они в Италии вместе с Энеем в доромулово время во многих местах. Он приводит тому разнообразные свидетельства: Сервия об Этрурии, надписей из Тибура, Пренесте, Анция и других центров Лация, а также археологических находок изображений важнейшего атрибута салиев — щита-анциле — в виллановианских памятниках Центральной Италии.

Автор книги сопоставляет эти факты с неоспоримо микенским характером анциле, доказанным П. Кассола, и подходит к убедительному выводу о том, что салии распространились по Италии не из Рима, а, скорее, через Лавиний и были импортированы туда из микенского мира. Иностранные корни салиев разрушают, таким образом, принятую в современной науке этимологию древних: *salii* от *saltare*, *saliendo* (стр. 56—60). Эти свои соображения Э. Перуцци подкрепляет анализом термина *арех*, обозначающего остроконечный головной убор салиев. Он считает и в этом случае этимологию древних (*арех* от *арю*, *ареге*) — ложной и указывает на формальную и семантическую близость *арех* и греческого *ἀμπεξ*, *-έχος*, фигурирующего в двух значениях — женское налобное украшение и оголовье уздечки, т. е. вообще нечто плетеное, сетка для головы, налобный убор. Слово это известно уже с микенской эпохи. В связи с конской упряжкой упоминается *a-pu-ke* (*ἀμπεκες*), *a-pu-ko-wo-ko* (*ἀμπεκο-φορῶι*, т. е. изготовители этих предметов и др. Микенский термин утверждается в Риме в соответствии с законами жизни латинского языка. В латинском в открытом слоге внутри слова свойствен переход *u > i*: *caput*, *capitis*, множественное число — *capita*. Поэтому *ἀμπεξ*, *ἀμπεχος* множественное число *ἀμπεκες*, должны были дать *ампех*, *ампечис*, мн. ч. *ампечес*, а затем — *амрех*, *исис*, т. е. по номинативу или аккузативу множественного числа, тем более, что в латинском почти нет многосложных имен на -консонант +us, в родительном -консонант +icis, исключая редкие дериваты от *dux*, *cis* — *reduх*, *cis*, *traduх*, *cis*. Таким образом, формы родительного единственного числа и именительного множественного числа помещают *амрех*, откуда *арех*, в привычную схему латинских имен на *ex/ix* с родительным на -icis и множественным числом на -ices (стр. 66, 67).

Предвидя возражения в связи с тем, что *арех* мог быть *testis unus*, Э. Перуцци проверяет принадлежность *pilleum* к тому же лингвистическому кругу. Слово это в обиходе салиев очень важное, поскольку именно оно-то и обозначает головной убор жрецов, в то время как *арех* является собственно частью его, по которой порой и называют всю шапку *pars pro toto*. В латыни существует и *pilleus*, *i*, *masc.* и *pilleum*, *i*, *neutr.* Уже древние связывали их с *πίλος* (шерсть, войлок). Современные ученые,

в том числе такой авторитет, как Эрну, предполагают для них то общего средиземноморского предшественника, как для прочих терминов на -eus, то конкретно этрусского. Э. Перуцци считает более обоснованным соответствие *pilleum(-us)* греческому, поскольку другие древнейшие латинские слова на -eo- имеют греческое происхождение, например, *cotoneum* < *κοδώνιον* (кидонский, круглый и твердый, как айва). Такие соответствия наводят на связь *pilleum(-us)* не с *πίλος*, а с *πίλιον*, которое обозначает не шерсть, войлочный головной убор, а только головной убор. Это имеет значение, потому что *pilleum(-us)* салиев — не шерстяной, но бронзовый, что выдает в нем заимствование (стр. 69—70).

По наблюдению Э. Перуцци, кроме *pilleus(-um)* в латинском языке есть только три слова на -leo-: *malleus* (молот), *trulleum* (ковш, черпак) и *culleum* (кожаный мешок). Все они имеют «техническое» значение, т. е. являются терминами из производственной или хозяйственной сферы, которые часто представляют собой слова «странствующие». Родство *culleum* и *pilleum* с греческим особенно очевидно: в обоих случаях -ll- соответствует -λ-, которой предшествует долгий гласный или дифтонг, подобно паре *camillus* < *καμήλος* (стр. 71). Так исследователь уточняет формальный аспект греческой этимологии *pilleum*, уже ранее гипотетически предлагавшейся другими.

Затем в книге предпринимается попытка датировать заимствование *pilleum(-us)*. Э. Перуцци исходит здесь из того, что *pilleum* был символом свободного человека. Древнейшую аттестацию слова он видит в выражении «*pilumne poploe*» в спондеях *carmen saliare*. Песен салиев было много, их читал еще Варрон, знал наизусть император Марк Аврелий Философ, цитировали жрецы еще в III в. н. э. Спондаический размер как нельзя более подходит к торжественному танцу салиев, введенному при Нуме (стр. 73).

Происхождение «*pilumne*» Фест объясняет либо от *pilis* (т. е. *pilum*), либо от *pellere*, что предполагает написание *pill-*. Но такое толкование, по мнению Перуцци, подразумевает наличие текста, сохранившего архаическую практику написания одного согласного вместо двойного. Значит, выражение следует восстановить как «*pilumne poploe*», видеть в нем форму дательного падежа и, так как в нем заключается понятие «римляне», считать его идентичным «*pilleato populo*». Несмотря на созвучие с некоторыми греческими словами, *pilumne* — не заимствованное, а латинское слово. Оно входит в группу немногих слов на -umne- и может быть причастием архаического, вышедшего из употребления глагола. На древность формы проливает свет архитектурный термин *columna*, который подсказывает, что морфема -umne- была присуща языку древнейшего Лация, знавшего хижины с портиком из четырех грубых веретенообразных колонн, как бы обвитых лентой. Урна-хижина из Кампофатторе на Альбанской горе, относящаяся к I латийскому периоду, подтверждает мнение исследователя и указывает на глубокую древность «*pilumne*» (XI—IX вв. до н. э.). Эти положения представляются нам верными. В дополнение к ним можно еще сказать о безусловной древности второго слова рассмотренной формулы из песни салиев. На это уже обратил внимание П. Каталано<sup>4</sup>, исследовавший термины, обозначающие римский народ в разных его аспектах в различных исторических условиях. На основе эпиграфических данных он убедительно показал, что форма *populus* утвердилась лишь в середине II в. до н. э., пройдя длительный путь развития от *poplos*: *poplos* > *popolos* > *populus*. Совокупность всех данных приводит Э. Перуцци к заключению о том, что *pilleum* — древнее Нумы, что это отзвук более древней эпохи, чем та, когда утвердились в *urbs* салии (стр. 74—76).

Далее автор книги, основываясь на показании Феста, находит еще один «грецизм» в costume салиев: слово *rescia*, ед. ч. \**rescium* (одежда с облегающим лифом, изготовлялась из овечьих шкур), стоящее в отношении с *τὸ πέσκος* (овечья шерсть).

Весь рассмотренный во II главе материал позволяет Э. Перуцци признать верной традицию о происхождении термина *salus* от самофракийского этника *Σαίος*. Это второй случай того, что этникон стал названием жреческой коллегии в доромуловом

<sup>4</sup> P. C a t a l a n o, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, стр. 97.

Риме (стр. 77). Глава заканчивается любопытными замечаниями: принимая буквально троянское происхождение салиев, невозможно отвлечься от вопроса, на каком языке говорили троянцы. По мнению Перуцци, вопрос остается открытым, и он присоединяется к мысли Т. Б. Л. Вебстера<sup>5</sup> о том, что столь полное знание Гомером троянских героев объяснимо лишь двумя возможностями. Либо Троя VII А была грекоязычным городом микенского круга, подобно Кноссу и Пилосу, либо история ее осады была выработана в течение веков в микенском круге. Но особенно значительным кажется вывод Перуцци, согласно которому традиция, приписавшая введение салиев в Лацию Энею, атрибуировала тем самым это жречество иммигрантам, прибывшим после аркадиян Эвандра. И ученый подчеркивает, что соответствие латинского «р» — греческому  $\rho$  изученных здесь слов отличается от соответствия латинского  $b$  греческому  $\pi$  типа  $buxus \sim \pi\acute{o}\xi\omicron\varsigma$ ;  $burgus \sim \pi\upsilon\rho\rho\acute{o}\varsigma$  при заимствованиях, присущих времени аркадского поселения на Палатине, о чем писал он в своей предыдущей работе<sup>6</sup>. Эти выводы Перуцци подтверждают правильность сообщений античной традиции о сложности и многослойности населения древнейшего Лация.

Третья глава «Прибрежные диалекты в Риме» (стр. 79—160) весьма обширна. В ней содержится попытка выявить разные языковые пласты и течения в архаическом Риме. В древнейшей римской ономастике внимание автора книги останавливает на себе преномен альбанского царя «Агриппа». Античные писатели единодушно давали ему этимологию в связи с трудностью (aegre) появления на свет детей в противоестественном положении ногами вперед. В древности сомневались не в значении этого слова, а в его происхождении. Современные лингвисты цитируются установить связь имени Agrippa с основами слов разных индоевропейских языков. Э. Перуцци ставит вопрос, принадлежало ли это слово к традиции языка, которая продолжала индоевропейское «\*o» латинским «a». В римской лексике Перуцци привлекают парные слова, одинаковые по значению и по форме, исключая гласный корня, который может быть либо «a», либо «o», т. е. слова, имеющие общее происхождение, являющиеся аллотропными формами одного и того же предшественника из лона одного языка. Он рассматривает тринадцать пар с их дериватами, обнаруживающих чередование  $a \sim o$ :  $vaso \sim voso$  (быть пустым), встречающиеся в III в. до н. э. (стр. 85—87),  $faveo \sim foveo$  (благоприятствовать):  $foveo$  реконструировано по императиву в надписи, предшествующей II Пунической войне,  $faveo$  принадлежит религиозному обиходу, поэтому не может быть поздним вариантом  $foveo$ . На раннюю хронологию его указывает ономастика Альба-Лонги. Уже в этимологическом словаре Эрну—Мейе замечалась связь  $faustus$  и  $favor$ .  $Faustus$  — имя царского пастуха, пасшего скот на Палатине,  $Faustinus$  — имя его брата, пасшего царские стада на Авентине. Эти персонажи указывают на Ромулову эпоху. Эрну—Мейе допускают сближение  $faveo$  со славянским  $goveti$ , но все же этимология слов неясна, и установить, какой из гласных был первоначальным, невозможно (стр. 87—90).

Ту же трудность констатирует Э. Перуцци и на примере пары  $covus \sim cavus$  (пустой, полный, впадина) с их дериватами. Обе формы — древние, но  $covus$  как поэтический архаизм в Риме — древнее (стр. 91—92),  $qualum \sim colum$  (плетеная корзина, фильтр). Оба слова принадлежат сельскохозяйственной сфере: первым обозначается предмет, который употребляется при сеянии и при сборе плодов, в первую очередь винограда, т. е. как решето, а вторым — служащий фильтром при процеживании жидкостей, прежде всего вина (стр. 94—95).

Названные пары демонстрируют чередование  $a \sim o$  в контакте с (w), но то же чередование обнаруживается и в других фонических контекстах:  $marcus \sim *morkos > murgus$  (со значением физической порчи, духовной слабости) с переходом  $o > i$  в начальном слоге перед  $g +$  консонант, подобно  $\pi\omicron\rho\phi\acute{\iota}\rho\alpha > purgura$ ,  $\phi\acute{\iota}\rho\kappa\alpha > furca$ . Но слово  $murgus$  — римское, поскольку Авентин некогда назывался  $mons Murcus$ . При этом слова на  $marc-$  удержали и основное и фигуральное значение (и относились

<sup>5</sup> T. B. L. Webster, *From Mycenae to Homer*, L., 1958.

<sup>6</sup> Peruzzi, *Prestiti micenei in latino*, стр. 7 слл.

и к человеку, и к животным, и к растениям, к сельскохозяйственному обиходу), а слова на *hinc*- только последнее значение, относясь лишь к лицам. Но обе формы существовали изначально (стр. 97—98).

\**onkos* > *uncus* ~ *ancus* (согнутый, изогнутый, кривой) с переходом в первом слове *o* > *u* перед *nk* подобно *hons* > *hunc*. Это — тоже пара физических характеристик, точнее — недостатков. *Uncus* применяется к живым существам и разным частям тела, *ancus* только к искаженным членам: *ancus manus* (в надписях) — это кривой, увечный. Преномен четвертого римского царя происходит, согласно анонимному автору сочинения о преноменах, от покаленного локтя, а согласно позднему хронисту, — от изувеченной ноги. Э. Перуцци отмечает, что основа *anc-*, *ang-* (сгибать, гнуть) широко распространена в индоевропейских языках, но чередование в ней *a* ~ *o* свойственно лишь греческому: *ἀγκάλη* (согнутая рука, локоть), *ἀγκών* (изгиб руки > локоть), но *ἄγκυρος* (наконечник, угол, загнутый зубец стрелы) как термин, обозначающий техническое приспособление, может быть и заимствованием. Что касается содержания рассмотренных терминов, то в латинском *uncus* и *ancus* имеют идентичное значение (согнутый, изогнутый с большой шириной диапазона), а в греческом они различаются семантически.

К Варрону восходят сведения о сабинском происхождении слова *ancus*. В сабинском языке его дериватом является *ancile*. То, что *ancus* все же имеет оттенок искаженности, т. е. акцентирует одно из значений более общего *uncus*, позволяет Перуцци соглашаться с его «иностранном» характером, поскольку проникновение в язык слова с каким-нибудь одним значением присуще именно заимствованиям. На то же, по его мнению, указывает и тот факт, что Анк был преноменом (стр. 99—100).

На примере пары *rōdō* ~ *rādō* (разрушать, разъедать, царапать) автор книги показывает, что чередование *o* ~ *a* не зависит от долготы звуков, поскольку в данном случае в отличие от предыдущих «*o*» и «*a*» являются долгими. В связи с этими словами он касается еще одного важного вопроса — о семантической специфике вариантных групп. Форма *voco* ~ *vaso* (быть пустым) быстро вышла из употребления из-за столкновений с *voco* — звать, призывать, становящихся все более частыми в развивающемся Риме. Пара же *rodō* ~ *rādō* прочно сохранилась благодаря семантической специализации ее слов. Так: *radere dentibus*, но *rodere unguibus*. Или: названия сельскохозяйственных орудий всегда имеют основу с «*a*»: *rādula* (скребок), *rāllum* (сошник), *rāstrum* (грабли) (стр. 101—103).

То же относится и к дифтонгам в чередованиях *ai* (> *ae*) ~ *oi* (> *u*).

В паре *saepim* < \**kaino* ~ *cupio* < \**koino* (грязь, нечистота) первое слово — из городского, урбанистического обихода, не жизненное. Второе — с многими дериватами: *inquinare* и *inscipare* с их продолжениями, которые, в свою очередь, характеризуются, с одной стороны, как слова с общим значением или с оттенком языка городского, в том числе просвященного круга, а с другой, — сельского обихода (стр. 107 сл.).

В паре *caedo* ~ *cudo* (бить, ударять, поражать) этимология не известна. Форма *caedo* — общая, а также применяемая как технический термин в области религии и права (*caedere hostias*, *paricidas* — в законе Нумы). Основа от *cudo* обычно встречается в сложных словах (*ac-*, *ex-*, *in-*, *proscudo*), связанных с кузнечным делом и другой производственной деятельностью, в том числе и в сельском хозяйстве. Неясность этимологии побуждает Перуцци предложить альтернативу: предшественником пары мог быть либо \**Koido*, либо \**Kaido* с одинаковым основанием (стр. 110—112).

Аналогичная альтернатива может быть и для пары *ludo* ~ *laedo*. Основа *lud-* указывает на игру, выраженную в действиях, в отличие от *iocus* — игры в словах, шутки. *lud-* связана с борьбой, состязаниями. Основа *laed-* ведет в направлении удара, повреждения, *lud-* принадлежит просвященной среде, во всяком случае в Риме утвердилась в Ромулову эпоху на основе габийского опыта (стр. 115).

Все перечисленные пары доказывают существование в латинском языке двух традиций с «*o*» и с «*a*» без возможности установить, которая из них сохранила первоначальный гласный, за исключением *cavus* ~ *covus* с безусловным приоритетом *covus*.

Но из этого Э. Перуцци не считает допустимым утверждать везде изначальность форм с «о».

В плане хронологии ему представляется важной пара \*sword ~ \*sward- (грязный, нечистый, мерзкий, может относиться к темному цвету продуктов сгорания). Известны их производные:

I sordeō, sordēre (быть нечистым, в частности, из-за дыма)

sordes, is (грязь, нечистота)

II suasum (дымный, закопченный)

И здесь проявляется возможность все той же альтернативы, т. е. возведение этих производных и к первому и ко второму члену пары. Важно, однако, что в надписи на столбе Форума VI в. до н. э. ясно читается «sord». Здесь ключ к датировке. Можно эту надпись считать *terminus non post quem* для сосуществования в Риме двух традиций, даже если одна из них не чисто римская, а иностранная (стр. 117—119).

Чередование о ~ а находит Перуцци и в паре *valva* (дверные створки) ~ *volva* (оболочка грибного зародыша, матка животных), некогда идентичного значения (стр. 121 сл.).

Обобщая приведенные языковые факты, исследователь приходит к заключению о том, что варианты слов с чередованием о ~ а представляют собой реликты языковой и культурной фазы развития, когда в латинском языке сосуществовали две тенденции, которые в республиканское время как бы слились с победой одной из форм.

После установления этого положения Э. Перуцци задается вопросом о том, как соотносились названные традиции в языке Рима с окружающей *urbs* этно-лингвистической средой. Он начинает с рассмотрения отношения латинского и умбрского, отправляясь от важного для обоих народов слова — «копье», которое соответственно звучит как *hasta* и *hosta*. Исследователь обращается к латинскому глаголу *hostio*, *hostire*. Его основное значение — равнять, уравнивать, а фигуральное — платить той же монетой, отплачивать. Одно его производное — *hostimentum*, т. е. уравнивание, выравнивание. Другое — *hostōrium*, обозначающее деревянный прибор для определения уровня жидкости или зерна в сосуде в виде палки с планкой наверху. Греческие глосаторы определяют его обычно с помощью таких слов, как ξύλα, σκτάλη и т. п. Э. Перуцци, основываясь на свидетельстве Феста, отмечает, что *hostire* может означать еще — ударять, поражать. Отсюда он делает остроумное замечание, что оба значения этого глагола являются как бы спецификацией общего понятия «использовать дерево» разным способом и в разных целях. И поскольку *hostio* является глаголом на -iō по модели: *gnārus* > *gnārio*, *servus* > *serviō*, *roena* > *roeniō*, *bullā* > *bulliō*, значит — формой, образованной либо от основы на -«о», либо на -«а», бывшей обозначением дерева, т. е. \**hostus* (-um) или \**hosta*. Становится ясным, заключает исследователь, что \**hosta* — та же форма, что и умбрское слово, обозначающее копье. В латинском она сохранилась лишь в дериватах, но ей соответствует в Риме — *hasta* (стр. 125—127). И нельзя не согласиться с доводом Перуцци по поводу глубокой древности слова *hasta* в Риме. Ведь копье из кизилового дерева было оружием (по крайней мере у знатных людей) уже во времена Ромула. Оно стало царским инсигнием и символом бога Марса. *hasta* — именно римское, латинское слово, других латинских слов для обозначения копья не существовало, *curis* ~ *quiris* известно как сабинское. Таким образом, в книге выявляется чередование о ~ а, свойственное ряду умбрских и латинских слов близкого значения и выделяются две различные традиции — латинская с «а» и противостоящая ей умбрская с «о». Вместе с тем умбрские формы с «о» находят соответствие латинским, таким, как *hostio*, *hostōrium* и т. д. (стр. 129).

Подобное же исследование предпринимает Э. Перуцци в отношении латинского и оскского. Он констатирует, что Эниий и затем Фест поясняли глагол *tongeo*, *tongere* как *vincere* и *poscere*, причем последний основывался на тексте Л. Элия Стилона Преконина, привлечшего для объяснения слово из пренестинского обихода *tongitio* — знание, решение. Этим словам близка оскская форма *tangin*, происходящая от глагола, соответствующего латинскому *tongeo* (с юридическим оттенком значения, т. е. знать,

решать, постановлять). Так определяется знакомое уже чередование  $o \sim a$  в латинском *tong-eō*, пренестинском *tong-itīō* и оскском *tang-in*, в словах, относящихся к периоду первой половины II — первой половины I в. до н. э., т. е. современных друг другу (стр. 130).

Сопоставляя наличие в Риме вариантов *host-/hast-* и *tong-* с названными языковыми фактами из умбрского и оскского ареалов, Э. Перуцци убедительно показывает, что формы с «а» — ориентированы, скорее, к югу и к западу, а формы с «о» — к северу и востоку (стр. 131). Подтверждение этому исследователь видит в паре прилагательных, обозначающих хорошее качество: латинское *volaemo*, оскское *valaemo-*. Встречающаяся в латинском разница в написании (*volaemo-* и *volemo-*) может быть объяснена вслед за Варроном (L. I. V, 97) как урбанистическая и сельская формы (стр. 132).

Исходя из географического распределения форм с чередованием  $a \sim o$ , Э. Перуцци предлагает решение проблемы латинского *mare* (море), выпадающего из ряда других индоевропейских слов того же значения. По его мнению, *mare* может принадлежать той традиции в латинском языке, которая с характерным гласным «а» ориентирована в направлении юга и запада Лация, т. е. принадлежит его прибрежной части.

Происхождение двух разных лингвистических традиций трудно объяснимо за недостатком материалов. В поисках их истоков Э. Перуцци обращается к преданию о раннем царском времени в Риме. Он справедливо отмечает, что до Анка Марция море было мало доступно для примитивного Рима. Поэтому необходимо заглянуть в римскую предысторию. Помогает ему в этом изучение еще одной пары с чередованием  $a \sim o$ : латинское *arx* и умбское *osaq*, древнеумбское *uqar* (вершина, цитадель). Первое слово — женского рода, с основой *ark-*, родительным падежом *arcis*, второе — мужского рода, с основой *okq-*, родительным падежом *osqer* (у марруцинов — *osres*). Но основа *okq-* зарегистрирована и в латинском у Феста в формах косвенных падежей со значением каменистой горы или горы с уступами, а также в виде топонимов — *Osciculum* (умбрский город), *Interoscrea* (сабинская деревня). Как и *ark-*, основа непродуктивная. Устойчиво живет только *arx*, а *okq-* сохраняется практически только в сложных словах: *mediocris* и *mediocrinus*. Последнее употребляется применительно к богам, откуда Перуцци делает резонный вывод о его собственно римской принадлежности. Что касается *arx*, то исследователь, исходя из бинимия «*Capitolium et arx*» и того, что Капитолий был занят сабинами, когда уже существовала цитадель, полагает, что это слово могло быть досабинского, т. е. аборигинского происхождения (стр. 136—139). И латинское *arx* и умбское *osaq* могли воспроизводить общего предшественника с основой на копсонантную, аномальную для этих языков группу. Предшественник должен принадлежать субстрату и различаться в двух разных ареалах чередованием  $a \sim o$ . Опираясь на то, что прослеженная им эволюция в аборигинском субстрате римской зоны  $g^{\omega} > b$  и  $k^{\omega} > r$  в период XIII—VIII вв. до н. э. имеет место в оскском и умбском языках исторической эпохи, Э. Перуцци не считает возможным предпологать в лингвистической сфере аборигинов очень тесных отношений с упомянутыми языками. По его мнению, латинское *arx* и умбское *osaq* скорее указывают на ориентацию аборигинского субстрата в направлении осков или на его влияние на осков (стр. 140).

Выявление двух традиций в языке Рима, а также их географической ориентации само по себе очень интересно. Но наибольшее значение для историка имеет сопоставление результатов лингвистических исследований с античной традицией, осуществленное Перуцци.

Напомним, прежде всего, что, как доказано в книге, обе языковые традиции существовали в Риме уже в VI в. до н. э., а образование их уходит в глубь веков. Не менее важно наблюдение Э. Перуцци относительно локализации одной из традиций внутри собственно римской территории. Поскольку существовавшие на Авентине ворота назывались *Porta Rauduscula*, здесь должен был существовать круг с традицией «а» (стр. 140). Античные авторы донесли до нас сведения о том, что Авентин до Анка Марция не был еще заселен, и царь после победы над Телленами, Фиканами и Политорием переселил на этот холм жителей покоренных городов. Э. Перуцци снимает

сомнения в правильности этого предания, высказанные А. Мерлином, полагавшим, что Авентин не мог бы вместить всех переселенных, и что римляне совершили бы ошибку, включив в город сельских жителей, доставлявших горожанам продовольствие. Он замечает, что в Рим переселялось не сельское население, а лишь *cives* городских ядер, которым царь позволил сохранить свое добро. В этом Перуцци справедливо видит попытку включить в экономику собственников тех территорий, которые римляне не могли эксплуатировать непосредственно (стр. 147). Как нам представляется, действительно, на территорию складывавшегося *urbs*, а также *ager Romanus* вне ее, перемещалось не все покоренное население, назависимо от получаемого им статуса в условиях формирующегося гражданства. В связи с рассматриваемой в книге темой важно отметить приток новых жителей на Авентин в результате активной политики, проводившейся Анком Марцием. Исходя из идентификации современного Castel di Decimo с Политорием и Acilia с Фиканой, Э. Перуцци формулирует обоснованный вывод о том, что *Prisci Latini*, помещенные Анком на Авентине, пришли из лингвистического ареала, характеризующегося гласным «а».

В книге прослеживается также влияние этого ареала на римскую топонимику. В Риме существовала *Tifata curia*. По объяснению Феста, *tifata — illiceta*, причем Тифатой же называлась и местность близ Капуи, и, согласно Плинию (N. h. III, 68) — город в Лация, где-то в юго-западной его части. Топоним, содержащий *f*, явно неримского происхождения, должен быть в Рим импортирован из оскского района (стр. 150). Сохранил оскское наименование в римском словаре и важный пункт на пути к морю, которым овладел Анк Марций — *silva Maesia* (стр. 151). Эти явления справедливо связаны исследователем с авентинским населением, прибывшим во второй половине VII в. до н. э. из юго-западного сектора Лация. После завоевания Анком Медуллией к северу от Аниена и с переселением медуллинцев в Рим в Мурциеву долину (*Liv.*, I, 33, 5), говор которых, вероятно, заметно отличался от оскского, *urbs* VII в. до н. э. в самом деле, как отмечал Ливий (I, 33, 1—2), был поделен на этно-лингвистические ареалы: римский на Палатине, сабинский — на Капитолии, альбанский — на Целии, древних латинян — на Авентине и другой их части — в долине Мурции. Это обстоятельство и обуславливает, по мнению Перуцци, наличие лингвистических традиций в языке Рима, которые не могут быть объяснены лишь как различия более раннего и более позднего времени, между городом и селами, между знатью и плебсом. Традиция с «а» указывает на значительный вклад населения прибрежной латийской зоны в культуру Рима. Это особенно выявляется из того факта, что ей принадлежат «технические», мы бы сказали, — из области материального производства и строительства, термины, такие, как *valva* (дверные створки), *radula* (скребок), *caelum* (резец), *saementum* (щель) и т. д. (стр. 152—153).

Кроме этих важных положений, которые нельзя не учитывать при изучении проблемы населения царского Рима, лингвистические исследования Э. Перуцци имеют также выход в проблему культурного развития и взаимоотношений Лация и Кампании VIII—VII вв. до н. э. Этруско-кампанские отношения осуществлялись, как известно, через Лацию. Один путь несомненно шел по внутренней части страны, вероятно, вдоль течения Лириса и Сакко, через Габии. Другой мог идти через Анций, Ардею, Лавиний, Политорий и Фикану, либо по морю до Анция и оттуда — на Фикану. Но в любом случае, как замечает Перуцци, через латинский язык прибрежной зоны Лация проникали в Рим слова из греческого культурного круга, в которых можно разглядеть латинское «а» < греческого «о»: *cassis*, *idis* (металлический шлем ромулеанской эпохи) < дорического *κοττίς, ἰδος* («хохлатый» шлем). Археологическим подтверждением этого заимствования является изображение воина на сосуде местного производства из Питекусы VIII в. до н. э.; *lansea* (копье), адекватное греческому *λόγχη* (острие, копье); *catillus* (сосуд) греческого *κατύλος* (вариант *κοτύλη*), причем слово имелось в обиходе Массилии, основанной фокейцами около 600 г. до н. э.; к тому же известен микенский антропоним *ko-tu-ro<sub>2</sub>* т. е. *Κοτούριων*; *patera* (сосуд прежде всего для возлияний), продолжающая греческое *πατήρα* (вин. пад.). Для датировки этого заимствования Э. Перуцци указывает на микенское *ro-te-re-we* (дательный падеж) антропонима или наи-

мелования ремесленника, а также на *ποτήριον*, как именуется «кубок Нестора» из Питекуссы VIII в. до н. э. (стр. 156—157).

Э. Перуцци выдвигает обоснованное предположение о том, что указанным путем грецизмы проникали не только в Рим, но и в Этрурию. Аргументация и на этот раз строится на показаниях как лингвистического, так и археологического характера. К первой четверти VII в. до н. э. восходит тип этрусской посуды *spranti*, совершенно чуждый виллановским формам. Термин обозначает плоское блюдо с ямками, расположенными concentрическими кругами, и с пуговкой (омфалом) в центре. Воспроизведение такого блюда имеется в святилище V в. до н. э. в Монтегурагацце, где найдена бронзовая статуэтка молодого мужчины, держащего блюдо для приношений в правой руке. Аналогичные предметы обнаружены и в римских *favissae Capitolinae*, т. е. в подземельях, куда складывали votивные приношения<sup>7</sup>. Перуцци подчеркивает, что определенно этрусские слова не начинаются со *spra-* (кроме двух неясных ономастических обозначений *sprantu* и *sprante*) и, учитывая назначение посуды, высказывает предположение, что этрусское *spranti* может продолжать греческое *σπονδαῖον* (сосуд для возлияний — *σπονδαί*). Упомянутая в Игувинских таблицах форма женского рода в предложном падеже *spranti(m)* может свидетельствовать о заимствовании ее у этрусков, у которых *spranti* встречается несколькими веками раньше (стр. 158).

Изученные здесь грецизмы позволяют Э. Перуцци оценить две параллельные латинские традиции с «а» и «о». В собственно латинских парах трудно определить, какой из гласных был первоначальным, так как даже в тех случаях, когда это явно «о», нельзя утверждать, что тут сохранилась непрерывная традиция. В заимствованиях же из греческого «а» — всегда более позднее развитие греческого «о» (стр. 159).

Э. Перуцци — исследователь, отличающийся тщательностью в работе. Поэтому он оговаривает противоречие, которое составляют альбанское слово *agrippa* и сабинское *apcus*, его выводу о типичности для береговой зоны Лация форм с «а». Эти слова входят в группу латинских прилагательных с корнем, содержащим «а», которые называют на физические негативные черты. Для многих из них предложена индоевропейская этимология (*aeger*, *balbus*, *saecus* и т. д.), некоторые считаются грецизмами (*blaesus*, *laevus*, *scaevus* и т. д.). Но для большинства нельзя дать серьезной этимологии (*claudus*, *laetus*, *paetus*, *varus* и т. д.). Но в паре *ancus* ~ \**onkos* (> *uncus*), аттестующей чередование *a* ~ *o* наравне с *cavus* ~ *covus*, несомненно чередование собственно латинского или сабино-латинского круга. В другие времена и у других народов замечено, что прилагательные, обозначающие физические недостатки, принадлежат субстрату, обнаруживая способность утверждаться в языке нового населения. Поэтому Э. Перуцци считает *agrippa* и *apcus* словами *sui generis*, не затрагивающими выдвинутого им основного положения (стр. 160).

IV глава называется «Сабинизм от Нумы до Цицерона» (стр. 161—175). В ней Перуцци возражает против распространенного в исторических грамматиках латинского языка мнения, будто в Риме индоевропейское «oi» претерпело развитие в «oe» и затем в «ū» с пережиточным сохранением «oe» в некоторых словах официальных текстов (*moerus* ~ *murus*, *oeti* ~ *ūti*) или в «технических» словах (*roena*, *roenia*) и в эпиграфических формулах (*coeraverunt*). Действительно, Цицерон в середине I в. до н. э. употреблял «oe» в своем трактате о законах. Но, по мнению исследователя, это было искусственной формой, обусловленной консерватизмом культурного круга, которая придавала налет архаизма ради торжественности изложения. Ведь уже в надписях II в. до н. э. зарегистрировано *ū* < *oi* (стр. 161). Далее исследователь доказывает, что переход *oi* > *oe* имеет место в архаических римских текстах, но он характерен для сабинского языка. В качестве отправного пункта исследователь использует Фестовы объяснения некоторых форм из песни салиев эпохи Нумы, откуда явствует, что в ней было по крайней мере три слова с «oe»: «*privicloes*» и «*pilumne poploe*» первое — дериват от *privus* (= *singulus*), вторая группа, как известно уже, = *pilleato populo*, т. е. свободный народ. В период учреждения коллегии салиев в Риме различие

<sup>7</sup> E. G j e s r t a d, *Early Rome*, III, Luna, 1958, рис. 125.

между альбанцами и сабинами еще ясно ощущалось, что вытекает из пассажа Феста, пояснявшего слово *vernae* как сабинское Помпилиевой эпохи. И прав Э. Перуцци, который, исходя из сообщений Плутарха (Numa, 17, 3), утверждает, что деятельность Нумы была направлена на преодоление указанных различий, так что в его правление все жители Рима, по крайней мере официально, стали называться римлянами. Во всяком случае в надписи на его саркофаге, открытом в 181 г. до н. э., Нума назван «rex Romanorum». А отсюда автор книги делает резонное заключение о том, что и под формулой *pilumnoe porro* в песне салиев скрывалась совокупность всех римлян, а не одна из этнических групп, входивших в их состав (стр. 163—164). Надо признать, что это новый аргумент в пользу объединительной тенденции в деятельности Нумы.

Э. Перуцци находит у Феста и его эпитоматора Павла Диакона еще две архаические формы с «oe» — «fescemnoe» и «ab oloes» (76, 16 и 17, 22), которые должны восходить к песне салиев, и обращает внимание на то, что во всех случаях объясняется значение, но не окончание слов. Значит, «-oe» и «-oes» были обычным явлением в архаических текстах, которые можно было еще читать во времена Веррия Флакка, чье сочинение лежало в основе обоих эпитоматоров. Однако, рассуждает далее Э. Перуцци, древнейшие латинские надписи демонстрируют «oi», а не «oe»: на пренестинской застевке — *pumasioi*, на Дуэновской вазе — *duenoī* и т. д., на столбе Форума — *quoī*, *loiquoid* и т. д. Латинские грамматисты утверждают, что «ex libris antiquis foederum et legum» (GLK, VI, II, 14) вытекает практика употребления окончания «oi», но ничего не говорят об «oe». Значит, для архаических текстов в целом данная диграмма не характерна, и она является особенностью лишь некоторых из них (стр. 165). Причем, это не эпиграфические памятники, и в число их входит *carmen saliare*. Античная традиция связывала последнюю с появлением коллегии в правление Нумы, стало быть, считала песни салиев очень архаичными. Римляне никогда не рассматривали их как документ сабинского языка в противопоставлении с альбанским, а, скорее, как первый поэтический латинский текст (Varro, L. I. VII, 3). Учитывая все это, Э. Перуцци не допускает мысли о том, что *carmen* можно считать созданной на сабинском языке только потому, что салии входили в круг нововведений Нумы. Для решения вопроса о языковой принадлежности песни салиев он обращается к глаголу *libāre* от \**loiba* < греческого  $\lambda\omicron\beta\eta$ , который, как уже было доказано<sup>8</sup>, является грецизмом, достигшим Рима через посредство сабинского ритуала. Хотя в *urbs* нет прямых следов \**loiba*, они обнаруживаются в религиозном языке сабинян. Об этом пишет Сервий (Georg. I, 7): «*quamvis Sabini... appellant, Liberum Loebasium... quia Graece  $\lambda\omicron\beta\eta$  dicitur res divina*». Исключительно сабинский характер *Loebasium* показывает, что слова салиев с «oe» не принадлежат римской промежуточной фазе в переходе *oi* > *ū*, а, скорее, связаны с *ŕ* развитием «oi» в сабинском языке, обслуживающем религию, который всегда отличается консервативностью. Для истории сабинского языка слово *Loebasium* важно потому, что свидетельствует о переходе *oe* > *oi* не только в конечном слоге (стр. 168). Аналогичное положение свойственно языкам осков и пелигнов, в то время как в латинском, подобно умбскому, судьба «oi» в разных частях слова складывается по-разному: *oiŕos ũŕus*; *soioŕnem soŕmŕnem*; в дательном множественного числа *ois* > *eis* > *is*. Разобраться в этих языковых явлениях помогает Перуцци сравнение трех связанных между собою форм: 1) латинское *romus*, f. (фруктовое дерево), *romum*, n. (плод), их дериваты — *Romona* (божество), *Romonal* (святылище) и др. 2) древнеумбское *Ruemesnes* (форма родительного падежа), или *Roemesnes* (теоним игувинских таблиц сабинского типа, что нередко в умбском); 3) вестин. *roimuni-en* (т. е. в святылище). Это сравнение указывает на общего предшественника, *roim-* для всех трех типов, который сохранился лишь в вестинском языке (стр. 169).

Со свойственной ему осторожностью Э. Перуцци делает оговорку: наличие сабинского *oe* < *oi* в текстах салиев само по себе еще не означает, что названная диграмма распространена в сабинском языке. Лишь сопоставление этого факта с данными античных авторов о приверженности римских сабинян Ромуловой эпохи их сакраль-

<sup>8</sup> «Parola del Passato», 1969, 24, стр. 25—28.

ным обычаям позволяет ему допустить такое положение в сабинском языке. При известном превосходстве сабинян с воцарением Нумы невозможно представить, чтоб язык салиев и других, учрежденных царем жреческих коллегий, не был сабинским.]

Признавая  $oe < oi$  в архаическом латинском в качестве сабинской черты, Э. Перуцци, тем не менее, предостерегает против атрибуирования каждой формы с «*oe*» сабинскому языку. Ведь в какое-то время группа «*oe*» возникала иначе, чем результат развития «*oi*» а именно, при встрече гласных в сложных словах, например, *со-ето* (стр. 171).

Возвращаясь к вопросу о ложных архаизмах некоторых форм с «*oe*», Э. Перуцци верно подмечает, что они не случайны, потому что предполагают определенную языковую традицию, к которой подлаживаются авторы архаизирующего стиля. Эту традицию он считает восходящей к сабинскому языку, который сохранялся в жреческих текстах и вне их наряду с традицией с «*oi*», причем обе они зачастую параллельно представлены разными формами одной и той же основы. В сфере этих лингвистических традиций латинское *й*, засвидетельствованное в надписях II в. до н. э. и, конечно, более раннее в разговорной речи, было развитием «*oi*», но не «*oe*». Иными словами, в живом Риме бытовала первая группа. Это несколько не противоречит безусловному престижу сабинского элемента, так как жреческие тексты Помпилиевой эпохи могли писаться на гьератике, которая отличалась от языка осевших в Риме куретов. Подтверждение этому Э. Перуцци не безосновательно видит, во-первых, в таких случаях, когда существительное специального значения имеет только форму с «*oe*», в то время как его дериваты, употреблявшиеся в общей речи, продолжают незасвидетельствованный архетип с «*oi*», например, *pūniō < \*poiniō*, реже *roeniō*, и *imprūnus*, *imprūne* и *improene* (но только *roepa*, никогда не *roipa*). Во-вторых, — в том, что в архаических и стилизованных под архаику римских текстах имеются окончания «*oi*», но не «*oe*». Поэтому «*oe*» в морфологии языка Рима — чужое, иностранное, сохранившееся лишь в некоторых словах (стр. 171 сл.). Удержалось оно благодаря скрупулезной точности произнесения *сагмина* в их первоизданном виде. Сакральный язык, в отличие от юридического, подверженного медленной эволюции в соответствии с естественным развитием языка, не меняется, даже становясь непонятным. Римляне считали тексты салиев наиболее архаическими среди подобных им текстов, настолько, что римские филологи называли их языком Яна и Сатурна (стр. 173). Основываясь на пассаже из сочинения Павла Диакона (3, 12, 5) о песнях салиев разного содержания, которые они слагали (*comproebantur*) в разное время, а также на архаизмах Цицерона и на замечании Варрона (L. I. VII, 27), исследователь делает остроумное заключение о том, что салии творили по сабинской архаической модели канонических *сагмина*.

Скрупулезность, с которой салии переносили свои *сагмина* в условиях развития языка в *urbs*, явилась одним из мотивов, по которым в императорское время тексты салиев и децемвиральных таблиц оказались записанными на совершенно различных языках, позволяющих различать две разных эпохи в лингвистической истории Рима. В заключение Э. Перуцци привел цитату из «Этимологии» Исидора Гиспальского (9, 1, 6—7) о четырех видах латинского языка, присоединившись тем самым к мнению, что песни салиев относятся к древнейшему языку (*prisca*) отличному от латинского (*latina*), на котором говорили при царе Латине и римских царях, сохранившемся в законах XII таблиц (стр. 175).

Как видно, новый труд Э. Перуцци насыщен огромным количеством лингвистического материала и свидетельств других видов источников, в первую очередь античной традиции с привлечением новых археологических данных. Уже это обстоятельство делает книгу заметным явлением в научной литературе. Но ценность книги, разумеется, не ограничивается этим. Необходимо отметить некоторые черты творческого метода, свойственные Э. Перуцци. Прежде всего — это обоснованность выводов, базирующихся на тщательном собирании источников и их сопоставлении. Выводы его всегда вытекают из рассматриваемого им материала, а не иллюстрируются им. Исследователь оперирует не выборочными фактами, что особенно проявляется в отношении

языковых данных, а всей массой их, включая и противоречивые, выявляя главную закономерность, что обеспечивает опять-таки фундированность заключений.

Значимость рассматриваемого труда состоит в том, что автор, занимаясь, казалось бы частными вопросами, либо решает, либо подходит к решению кардинальных проблем древнеримской истории. В данном случае — это проблемы достоверности античной традиции, населения древнейшего Рима и культурного, в том числе языкового, развития Ладия.

Нельзя не признать плодотворности применения лингвистического анализа для проверки сообщений античной традиции о палатинском поселении аркадян. По сравнению с предыдущими работами, Э. Перуцци показал ее достоверность в сфере религиозной истории Рима. Он внес также существенные уточнения в картину празднества луперкалий. Уже и до него в науке было обращено внимание на неримский их характер. Подводя итог исследованиям в этой области, Э. Гьерстад<sup>9</sup> подчеркивал чуждость Риму таких элементов культа, как принесение козы в жертву, признанную неясность этимологии слова «луперкалии» и полное отсутствие следов волка в их обрядах. Волк, по его мнению, просто придуман, остальное следует возвести к средиземноморским корням, поскольку римляне пришли на уже заселенное место, где обитали представители средиземноморских народов. Э. Перуцци, как нам представляется, очень убедительно показал греческие, аркадские истоки культа, а вместе с тем и объяснил причастность к нему образа волка. Убедительно и лингвистическое объяснение идентификации Пана с Фавном, а также уточнение характера культа палатинской Деметры и Победы. Так что в этой части книги автор успешно продолжил начатые им исследования, приводя дополнительные аргументы подтверждающие пребывание аркадян на месте будущего Рима.

Весьма существенное значение имеет и пассаж о салиях. Доказав греческое происхождение аксессуаров этих жрецов, Э. Перуцци поднял новый хронологический пласт в истории доромулова Рима, потому что здесь передача греческого л отличает от свойственной микенскому времени. Связывая введение салиев в Италию с приходом Энея, автор книги остановился перед вопросом о том, почему греческие термины были занесены троянцем, и, как было отмечено, для ответа на него присоединился к Вебстеру в оценке характера троянской культуры. Как нам представляется, основной вывод Э. Перуцци относительно роли Энея не должен вызывать недоумений. Если иметь в виду фрако-иллирийское или иллирийское происхождение Энея, т. е. видеть в легенде об Энее воспоминания о реальных, подтвержденных археологией событиях передвижений иллирийцев в Италию, то посреднический характер переноса греческих слов на Апеннинский п-ов балканскими уроженцами не должен вызывать удивление. Близость в культурном развитии Балканского региона и влияние в нем ахейцев, по крайней мере, с периода бронзы, т. е. со второй половины II тыс. до н. э., была настолько очевидной, что Т. В. Блаватская<sup>10</sup> отнесла Додону к ахейскому миру, а ведь Додона — это топоним иллирийского происхождения<sup>11</sup>. Особое значение имеет установление ученым связи названия салиев с этниконом самев, поскольку оно лингвистически подтверждает проникновение переселенцев и элементов культуры иллиро-фракийского ареала в Италию, засвидетельствованное традицией, а в отношении иллирийцев и археологией<sup>12</sup>.

Серьезный вклад вносит книга Э. Перуцци и в вопрос о значении сабинского элемента в раннем царском Риме. Как известно, в 50-х годах А. Бернарди<sup>13</sup> решительно высказался в пользу преобладания сабинян на заре римской истории. Против этого

<sup>9</sup> E. Gjerstad, *Legends and facts of early Roman history*, L., 1961/62, стр. 9—12.

<sup>10</sup> Т. В. Блаватская, *Греческое общество II тысячелетия до н. э. и его культура*, М., 1976, стр. 82.

<sup>11</sup> F. Lochner-Hüttenbach, *Die Pelasger*, Wien, 1960, стр. 157, 167.

<sup>12</sup> P. Laviosa Zambotti, *Le origini della civiltà vilanoviana secondo le più recenti interpretazioni*, «Civiltà del ferro», Bologna, 1960, стр. 92—94.

<sup>13</sup> А. Бернарди, *Periodo sabino e periodo etrusco nella monarchia romana*, «Revista storica italiana», 1954, f. I, стр. 5—20.

выступил в 60-х годах Ж. Пусэ<sup>14</sup>, полагавший, что ведущая роль сабинских царей в раннем Риме в традиции преувеличена в угоду претензиям сабинской знати в Риме и отражает натиск сабинян на Лаций в конце VI — начале V в. до н. э. Сабинизмы в языке древнейшей жреческой коллегии разрешают этот научный спор в пользу традиции.

Очень важно выделение в пределах латинского языка собственно «римского», подчеркиваемое Э. Перуцци. Выявление в нем двух традиций, тяготеющих к оскскому и умбскому ареалам, служит еще одним аргументом, подтверждающим гетерогенность римского населения и сложность его культуры.

Высоко оценивая книгу Э. Перуцци, хотелось бы высказать и некоторые пожелания. Исследователь неоднократно упоминает аборигинский субстрат, аборигинов, которые по-разному оценивались и древними писателями и современными учеными. К сожалению, на столь важной этнической категории он не останавливается, своего определенного отношения к ней не высказывает, и это вызывает у читателя чувство неудовлетворенности. Столь же неоднозначно в науке и определение времени образования *urbs*. Складывается впечатление, что автор книги относит ее, так же как и категорию гражданства (*cives*), уже к правлению Нумы, если не к еще более раннему. Все же это представляется сомнительным. Более правомерно было бы говорить о формирующихся *urbs* и гражданстве. Наконец, в книге с таким объемом материала и экскурсов желательно было бы видеть хотя бы самое краткое резюме к главам и общие выводы. Это облегчило бы ее чтение и восприятие.

Заключая, следует еще раз сказать, что читатель получил интересную, содержательную книгу, без учета которой уже нельзя будет вести исследование древнейшего Рима.

И. Л. Маяк

<sup>14</sup> J. Pousset, *Recherches sur la légende sabine des origines de Rome*, Louvain, 1967; он же, *Les sabins aux origines de Rome*, «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», Bd. I, B. — N. Y., 1972, стр. 126—128.

J.-C. TEXIER, *Nabis*, Paris, «Belles lettres», 1975, 111 стр. (*Annales de l'Univ. Besançon*, vol. 169. Centre de recherches d'histoire ancienne, № 14)

Рецензируемая работа, вышедшая в серии «Трудов» Центра по изучению древней истории Безансонского университета, состоит из «Введения» и четырех глав («Революция в Спарте», «Аргосские события», «Встреча в 195 г.» «Конец царствования»). В достаточно обширном «Введении» кратко обрисованы следующие проблемы: 1) причины и характер кризиса спартанского полиса; 2) деятельность царей-реформаторов Агиса и Клеомена; 3) политическая история Спарты от смерти Клеомена до начала царствования Набиса; 4) источники по истории Спарты времени Набиса.

Социально-экономический и политический кризис Спарты в IV—III вв. до н. э., с точки зрения автора, проявился в уменьшении числа полноправных граждан, концентрации собственности (в первую очередь земельной), задолженности большинства населения. Этот процесс шел параллельно с политическим и военным упадком государства. Дальнейшее развитие кризиса спартанского полиса Ж.-Ж. Тексье ставит в связь с началом новой — эллинистической — эпохи. По его мнению, греческие полисы (в том числе и Спарта) оказались неприспособленными к реальностям нового мира, в котором господствовали обширные территориальные «квазиабсолютские» монархии. В Спарте создались условия для взрыва, в котором должны были найти свое выражение внутренние конфликты общества. На форму этого «взрыва» оказывали влияние распространявшиеся в Спарте в IV—III вв. до н. э. представления о благоденствии государ-